

Е. И. Анненкова

«Рим» и «Выбранные места из переписки с друзьями»: от римского текста к русскому



Оставив в заглавии статьи рядом два столь разных произведения, нужно прежде всего задуматься над соотношением «итальянского» и «русского» в сознании Гоголя и выбрать из этой довольно обширной темы один из аспектов; в данном случае предметом рассмотрения станет характер выражения этих начал в литературных текстах. При этом, говоря о «Риме», воспользуюсь многочисленными и глубокими суждениями коллег (итальянских, украинских, русских), переходя же к «Выбранным местам», которые будут в центре внимания, постараюсь изложить своё понимание вопроса.

Нельзя не согласиться с исследователями, констатирующими, что пребывая в Риме, Гоголь находит не только «родину души своей», но и начинает понимать особую историческую перспективу России, обретает творческое состояние, необходимое для создания поэмы. Повесть «Рим» итожит первый период гоголевского творчества, обобщая размышления писателя 1830-х гг. об искусстве, и вместе с тем знаменует готовящийся переход к новому мировидению. Перед нами «римский» текст в том смысле, что повесть выразила приоритет эстетического начала как важной составляющей итальянской культуры и истории. Сквозной образ «красоты» – «торжествующая красота» [III: 218], «классическая красота» [III: 246], «красота полная» [III: 248] – критерий живописности и скульптурности, которым измеряются формы и зримость римской жизни (показателен лейтмотив «картины», акцент на «спокойствии» и созерцательности) последовательно проступают в повести, призванной воссоздать «невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека» [III: 234].

Гоголевский Рим, отмечает В. Паперный, – «это царство визуальности, царство архитектуры, скульптуры, живописи и царство пластичности и живописности, пропитывающих саму жизнь» [Паперный, 2004: 114].

Что обращает на себя внимание в истолкованиях «Рима»? Прежде всего констатация цельности повести и в то же время – выявление различных жанровых и стилевых возможностей, реализованных в ней, но при этом – почти неременный выход к вопросу о том, **что** же последовало за «Римом», что оказалось утрачено Гоголем?

В своей обстоятельной и очень глубокой монографии профессор Рита Джулиани говорит о продуманности и совершенстве композиции повести, а также текста в целом, об использовании эстетики маньеризма (настаивая на том, что это более точно характеризует стиль Гоголя, чем обнаружение в нём элементов барокко); определяет «Рим» как экспериментальное произведение, открывающее галерею гоголевских портретов «нового типажа», нового героя: прекрасной, живой души [Джулиани, 2009: 157–169]. Джованна Броджи Беркоф отмечает связь «Рима» с литературной темой блудного сына и предлагает рассматривать повесть как притчу, потенциально содержащую два смысловых уровня: эмблематический – пример воспитания и созревания молодого человека; и метафорически-анагогический – «приближение к духовному познанию Истины, поиск человеческой и духовной реальности, которая позволит человеку обрести своё место среди творения» [Беркоф, 2004: 44]. Возможность рассмотреть «Рим» как физиологический очерк представила в своей работе Е. Толстая [Толстая, 2004: 67–78]. Сопоставляя «Рим» с повестями «петербургского» цикла, М. Н. Виролайнен обращает внимание на желание Гоголя, чтобы «Рим» был своеобразным комментарием к «Мёртвым душам», особо отмечая предполагаемую в обоих произведениях метаморфозу – «преображение *ветхой* реальности» [Виролайнен, 2004: 109]. Особенности символического пространства в «Риме» рассматривает В. Ш. Кривонос [Кривонос, 2001: 131–149]. П. В. Михед настаивает на том, что Рим стимулировал «мессианские настроения Гоголя»: именно в Риме «вызрел апостольский проект» писателя и «была предпринята попытка его осуществления» [Михед, 2005: 148, 144].

Но наибольшего внимания (в свете рассматриваемого вопроса) заслуживают те суждения исследователей, в которых характеристики «Рима» соседствуют с интерпретацией более позднего творчества Гоголя. Как правило, складывается картина кульминационного выражения эстетических потребностей и возможностей Гоголя, осуществлённых в «Риме», и удручающего падения, утраты этих возможностей в 1840-е гг. Толкуя время работы над повестью как «дни неповторимого внутреннего равновесия», Р. Джулиани замечает, что совсем скоро это время «нарушится под тяжким грузом творческого бесплодия»; «Гоголь <...> стоит на пороге творческого молчания» [Джулиани, 2009: 120]. В. Паперный пишет о «чудовищной гротескности развиваемой Гоголем религиозно-политической концепции» [Паперный, 2004: 119]. В. Скуратовский, имея в виду «Выбранные места из переписки с друзьями», заявляет, что «не может быть никакого компро-

мисса с ретрограднейшими "идеями" этой странной, бесконечно тяжёлой книги», с её «трагическим, самодержавно-полицейским пафосом» [Скуратовский, 1997: 98, 97]. С. С. Беляков утверждает, что о России Гоголь пишет «даже не с любовью, а с каким-то подобострастием» [Беляков, 2016: 660]. Даже Ю. Я. Барабаш говорит об «имперском симптоме» Гоголя [Барабаш, 2012: 39]. Что же это за загадка? – так вдохновенно написал о Риме и так беспомощно, так уязвимо – о России? Правомерно поставить вопрос: может быть, не творческие возможности оказались исчерпаны у Гоголя, а исчерпал себя в творчестве писателя римский текст?

Рим, панорама которого открывается взору итальянского князя, заставляет его забыть, как мы помним, не только Аннунциату. Он словно забывает слова, которые оказываются не нужны. А обращая взор к России, Гоголь (правда, из «прекрасного далека») словно захлёбывается словами, испытывая потребность всё описать, своим словом выразить, запечатлеть, а одновременно и подвинуть русский мир к движению, самопознанию. Россия для художника оказывается в конце концов более притягательным материалом. Что есть Рим? Что он дарит, пробуждает? – благодатно само его созерцание. Что есть Россия? – сплошные антиномии: громадное безмолвное пространство (образ его – в «Четырёх письмах к разным лицам по поводу «Мёртвых душ»), вдруг пробудившаяся «жажда исповеди душевной» и бесконечные споры разных сторон. Какой литературный язык (и насколько отличный от того, что так идеально подошёл к Риму) необходим для описания этой реальности? Да и в целом – что собою представляет язык Гоголя? – задавались вопросом исследователи с давних пор. В своё время, анализируя характер гоголевского стиля, И. Е. Мандельштам обращал внимание на то, что влияние малороссийского языка в ранних произведениях было заметнее, чем в поздних, а также утверждал:

Сравнивая текст произведений с русской речью, мы замечаем, что Гоголь мысленно *переводил* обороты, слова, буквально, применяясь к русской речи [Мандельштам, 1902: 208. Курсив автора цитируемых слов. – Е. А.].

Ю. Я. Барабаш, касаясь этой проблемы в целом ряде работ, объясняя факт создания всех произведений Гоголя на русском языке, пояснял, что тогдашний украинский язык не был ещё готов к решению тех сложнейших универсальных задач, которые Гоголь с самого начала ставил перед собою. Но осознавая сложность подобной коллизии, исследователь пришёл к выводу:

Гоголевский парадокс, однако, заключается в том, что *именно* эта дихотомия – родовой признак гоголевского языка, то есть органическое сосуществование двух языковых стихий, – определила неповторимость созданного писателем своеобразного идиолекта русского языка <...> языковая *дихотомия* Гоголя стала лингвистическим аналогом антиномий национального сознания писателя, его душевной и духовной двойственности <...> [Барабаш, 2012: 46–47].

Пытается ли преодолеть эту дихотомию Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»?

Контраст, даже антиномичность двух произведений бросается в глаза, при том, что в обоих природа и возможности искусства являются предметом размышления. Но если в «Риме» царство слов оспорено, зримая красота вынесена на первый план, слиянность жизни и творчества представлена как возможная и спасительная, то «Выбранные места» культивируют слово: книга переполнена размышлениями о том, **что** есть «слово живо» и «слово гнило», **что** есть лиризм, **что** есть молчание и т. д.

В Риме (вечном городе) и в «Риме» (повести) – торжествующая красота и спокойствие, в «Выбранных местах» – интенсивность, чуть ли не агрессия рефлексии; в «Риме» – благословенная Италия как наследница античности с её скульптурностью, завершённостью; в «Выбранных местах» – странная Россия, странный (как показалось читателям в момент выхода книги) писатель. «Рим», при видимой незавершённости, – окончен, завершён, не требует продолжения. «Выбранные места» – при видимой завершённости, даже замкнутости структуры (от смерти к Воскресению) – ставят нескончаемый ряд открытых вопросов.

Создавая эту книгу, как и «Мёртвые души», в Европе, Гоголь словно стремится придать тексту упорядоченность, осознанную структурированность и тем по-своему «отформатировать» собственно русскую жизнь. Однако русский мир, не подчиняющийся извне привносимой форме, проглядывает в парадоксальности языковой стихии текста и самого авторского сознания, противящегося «политическим брожениям» и «идеям», распространяющимся по Европе.

«Выбранные места» – русский текст по его смысловой напряжённости, – стилевой неоднородности (их нет ни у Сильвио Пеллико, ни у Фомы Кемпийского, в 1840-е гг. ценимых Гоголем и творчески им воспринятых). Не спокойное поучение, а «посмертный голос» [VIII: 219] – слово, произносимое перед лицом «неумолимой смерти» [VIII: 220]. Вместе с тем это слово именно к соотечественникам, не случайно восклицание: «Соотечественники! Страшно...» [VIII: 221], и соотечественники – скорее русские, чем малороссияне.

Текст «Выбранных мест», с одной стороны, рассчитан на углублённое, уединённое, глубоко личное прочтение, с другой – на чтение вслух, чтобы звучал живой голос, чтобы были уловлены и переданы все авторские интонации, чтобы не стусевалась форма прямого обращения к живому человеку – современнику, россиянину, но одновременно – и любому европейцу. Устные, разговорные интонации в «Выбранных местах» давно замечены исследователями. Но это ещё и речь, в которой, по воле автора, оказывается возможным употребление слов, не всем понятных, но когда-то бытовавших в разговорном или письменном русском языке; слов не вполне правильных. Слова как будто выскакивают в быстрой речи, не исключаящей оговорки, когда некогда остановиться и поправить сказанное, ибо срочно нужно выговорить мысль, пока она не ускользнула или не устарела. Это

текст, который нужно видеть живыми глазами и слышать, ибо на слышимое мы откликаемся быстрее.

В своё время А. Д. Синявским были отмечены особые отношения Гоголя с языком, определившие своеобразие его художественной прозы, отчасти продолжавшие открытия Державина:

«<...> это был тот охват языка, который выявлял скрытые в нём запасы энергии, языка, привлекавшего Гоголя в первую очередь крайностями заключённых в нём самородных пластов, подлежащих соединению в художественном слове», это «сопряжение слов и наречий, живущих затаённо в отдельности и дающих в соединении поразительные эффекты самодеятельности языка, <...> в таком повороте самые недостатки языка, неправильности грамматики служат на пользу и проходят за достоинство прозы» [Синявский, 2009: 398–399, 400].

Но речь шла о художественной прозе Гоголя. А в книге, где ставятся столь серьёзные, чуть ли не сакральные задачи, язык должен бы быть упорядочен и строг. Однако упорядоченность учительной мысли автор совмещает со свободой языка.

Образы «уха» и «взгляда» постоянно встречаются в тексте. О Гомере сказано: «...уху его <нужно было> послушаться всего» [VIII: 237]; взгляд требует не созерцающий, а «прозирающий, углубленный» [VIII: 237].

Говоря о Жуковском, переводившем «Одиссею», Гоголь даёт такую характеристику перевода, которая опосредованно могла бы быть отнесена к его собственной книге, к «Выбранным местам»:

Переводчик незримо стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое ещё определительней и ясней высказываются все бесчисленные его (Гомера. – Е. А.) сокровища [VIII: 237–238].

В «Выбранные места» Россия могла бы, по Гоголю, смотреться, как в «зрительное», «выясняющее» её суть стекло. Автор ожидает, хотел бы надеяться, что и его книгу, как перевод Гомера, «прочитают все без скуки»: «дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотный, рядовой солдат, лакей, ребёнок обоего пола...» [VIII: 238]. Но подобное произведение, написанное эпическим слогом, не обладало бы необходимой силой воздействия. Поэтому Гоголь ищет неожиданные или ушедшие из употребления слова, сохранённые им, однако, в «Материалах для словаря русского языка» [IX: 439–485]. Замечательно словечко «громозд» – в главе о переводе «Одиссеи»:

<...> все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, всё так сливается в одно, улётчивая тяжёлый громозд всего целого [VIII: 242].

Это же словечко «громозд» встречается и в характеристике Державина, что было отмечено А. Д. Синявским. В «Материалах для словаря...» слово пояснено как «высоко вознесённый, куча» [IX: 444], но Гоголь явно расширяет и даже изменяет это значение. Таких словечек, ставших в контексте

книги собственно авторскими, довольно много. «Знатель дела» [VII:349], «извороты и обороты» [VIII: 242] – сказано о речи, в то время как в «Словаре» «изворот» – «способ тонкий получить деньги» [IX: 446].

Можно привести несколько характерных для гоголевского текста выражений. Например, с помощью разговорного слова, даётся уникально точная характеристика А. О. Смирновой:

Вы устали – вот и всё! Устали оттого, что <...> слишком понадеялись на собственные силы, **женская прыть** вас увлекла [VIII: 309. Здесь и далее выделено мною. – Е. А.].

О красавице и бывшей фрейлине так, пожалуй, никто не говорил. В другой главе:

<...> женщина скорей способна **очнуться и двинуться** [VIII: 337].

Помещику, который может слышать, что прежние узы, связывавшие его с крестьянином, исчезли навсегда:

<...> **Плюнь ты** на эти слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит <...> Русского человека <...> трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его **отвязать от себя** [VIII: 321–322].

О молодых художниках – думают только о том, «чтобы заводить **галстучки да сертучки...**» [VIII: 336]. Секретари «**точно какая-то незримая моль**, подточили все должности» [VIII: 271]. Упрек-предсказание «жене» и «мужу»:

Вы оба расплывётесь и распуститесь, **как мыло в воде...**» [VIII: 338].

Эти словечки услышаны и внесены в серьёзный текст. Книга словно оказывается составлена неким «громоздом» национального сознания и представлена читателю то в сыром, необработанном виде, то в авторской отделке. «Всеслышащее ухо» и «внутреннее око» как особый механизм и **одновременно** условие литературного труда – оказываются необходимы именно в ходе работы над книгой о России.

Укоряя «неустроенных и не организовавших писателей» [VIII: 241], Гоголь одновременно позволяет своему тексту в какие-то мгновения показаться неорганизованным, неустроенным, уподобляющимся хаотичной жизни, которая выражает себя в многоликости слов.

Форма писем и непосредственного обращения к корреспондентам, избранная автором «Выбранных мест», была рассчитана на то, что запальчивое слово самого Гоголя раскрепостит безмолвствующую Россию, тем более что слова, кажущиеся сугубо разговорными и поражающие неожиданностью, почти неуместностью, оказываются не только неслучайными, но подчас отсылающими читателя к максимально серьёзному контексту.

<...> Только одни **задние чтецы**, – читаем в главе «Об Одиссее, переводимой Жуковским», – привыкшие держаться за **хвосты**

журнальных вождей, ещё кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что **козлы**, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудившие стада свои [VIII: 238].

Что же это за «козлы»? Не вполне очевидно проступающая в тексте евангельская ассоциация впервые была отмечена В. Томачинским [Томачинский, 1999: 154]. В Евангелии от Матфея сказано, что в день Страшного суда «... придёт Сын Человеческий во славе своей <...> и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую сторону, а козлов – по левую». Стоящим по правую сторону будет сказано, что они наследуют Царство Божие, стоящим по левую скажет:

Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня, болел и в темнице, и не посетили Меня <...> Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне (Мф. 25: 31–33, 41–45).

Как отмечено В. В. Виноградовым [Виноградов, 1990: 322–329], А. И. Иваницким [Иваницкий, 1988: 58], В. Томачинским [Симеон, иеромонах, 2009: 26–35, 39–41, В. А. Воропаевым и И. А. Виноградовым [Воропаев, Виноградов, 1994: 395–418], в книге Гоголя, перемежаясь с разговорной лексикой, постоянно присутствует лексика церковнославянская и библейская. При этом слова, имеющие источником Священное Писание, не обособлены от других. Гоголь словно приучает к ним современного читателя, подзабывшего эту лексику. Это разноликое слово, обращённое прежде всего к России, по-своему воспроизводит многообразный и одновременно единый опыт отечественной культуры, в которой церковное и светское, даже полемизирующие в новое время, не утрачивают точек соприкосновения и предполагают взаимопроникновение. Книга воплощает в слове эту плоть и дух русской жизни, с её цельностью и одновременно двойственностью.

Конечно, «Выбранные места» – русский текст и потому, что в нём последовательно, на протяжении всего сюжета, развивается тема России, но это само собой разумеется, в данном же случае хотелось обратить внимание прежде всего на то, что сама фактура повествования стала лексическим, стилевым, а следовательно, и содержательным откликом на русские вопросы. Русской речи автор придал некую гротескность, позволив ей вступить в диалогическое взаимодействие с многовековой книжной культурой, проявляя таким образом тот потенциал, который был заложен в национальном развитии.

Путь к подлинно христианскому мыслится через познание собственно русского, национального. Осознание того, что «велико незнание России по-

среди России» [VIII: 308], предопределяет – в перспективе – возможность обретения «высшего взгляда христианина» [VIII: 308].

«Русская душа», «наша русская природа», «наша Россия», «наши поэты» упоминаются в разных главах книги. Создаётся впечатление, что говорить о «нашем» Гоголю отраднее. Ю. Я. Барабаш справедливо отмечал, что антитеза «родина – чужбина» (Малороссия – Россия) исчезает у Гоголя, в отличие от его земляка Т. Шевченко, к 1840-м гг. [Барабаш, 2012: 40–41]. В одном из писем к В. А. Жуковскому он звал поэта в Москву, называя её желанной пристанью. И сам писатель прибегает к этой пристани, замыкая круг своих странствий. Как князь в «Риме», Гоголь возвращается, ощутив, что поездки ему более не нужны.

Понятия «дорога» и «путь», встречающиеся в книге, фактически относятся ко всему – и к отдельному человеку, «сидит ли он сиднем» или «рыскает вдоль и поперёк», и к писателю, и к служащему (характерно выражение «на корабле своей должности и службы» – VIII: 344), и к нации, и даже к христианству. А чем же завершается путь, движение самих «Выбранных мест»?

В заключительных главах – о «существовании русской поэзии» и «Светлом Воскресенье» – после пестроты слов, запальчивости разговорной речи, торжественности церковнославянского и библейского стиля – повествование автора, его литературное слово становится столь отточенным и пронзительным, что уподобляется художественному слову, легко исходящему из уст, и уже нет надобности размышлять, не переводит ли Гоголь мысленно на русский язык фразу, рождённую на украинском.

В предпоследней главе приведены в единство «наши песни», «половицы наши», «слово церковных пастырей», «богатырское потрясение всего государства», произведённое Петром I и превратившее «европейское просвещение» в некое «огниво», которое вызвало пробуждение русского народа и укрепило «стремление к свету», столетия назад заложенное принятием христианства. Глава обнаруживает глубину историко-культурного мышления Гоголя. Найдено уникально точное слово: «самородный ключ». Самородный ключ поэзии, заложенный в равной мере в мифопоэтических пластах культуры и в церковной истории, именно ключ, неиссякаемый родник, пробивающийся сквозь толщу почвы и становящийся столь же силён, как водопад (вспомним упоминание стихотворения Державина «Водопад»), приобретает силу «животрепещущего слова», получив мощный толчок извне. Как культурный герой мифа, как царь-преобразователь, автор превращает культурный «хаос»: многоцветный, разноликий, стихийный – в космос литературы Нового времени. Гоголь не случайно пользуется категориями роста, пробуждения, развития, то есть строения новой реальности: о поэзии Ломоносова сказано: «начинающийся рассвет» [VII: 371].

Автор «Выбранных мест» сопрягает в неразрывное целое литературное и природное, лишь становящееся и сложившееся, почвенное и стремящееся к «незримому и таинственному» [VIII: 376].

Выстроив свою историю отечественной литературы, Гоголь «в заключение», как сам скажет, сформулирует главный свой вопрос:

<...> что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей? [VIII: 403].

Задан ракурс рассмотрения литературы, который на протяжении XIX и почти всего XX века сохранял свою существенность для критики и академической науки: в чём существо литературы и чему она служила? И лишь в новом тысячелетии стало вдруг казаться, что это родовой недостаток отечественных писателей, что это односторонность русской литературы и её интерпретаторов – рассуждать, что же сделала поэзия «для всей русской земли нашей». Но у Гоголя именно эти завершающие страницы XXXI главы превращаются в некий дифирамб поэзии – той поэзии, которая умела «служить».

То, что выше Гоголь говорил о самой поэзии – о её стремящейся силе, об одическом восторге, об огнедышащем слове, перетекает в его собственный текст, но теперь уже не затем, чтобы прославить поэзию, а чтобы зафиксировать чуть ли не со «скорбью ангела», чего же в ней нет: «почти незнаема и неведома нашим обществом»; не была «картиной полной и подробной <...> нашего быта»; ни поучала общество, ни выражала его» [VIII: 403]. Слово Гоголя – это слово пронизательного строгого критика и художника, но одновременно, именно здесь, оно уподобляется слову церковного пастыря (в главе о поэзии, думается, это удаётся ему более, чем в других, более ранних главах) – пастыря, который может найти строгое, укоряющее и даже беспощадное слово, но произносит его так, чтобы вся природа человека была потрясена.

В тональности, лексике, стиле самого Гоголя проступает тот необыкновенный, близкий к библейскому, лиризм, который он уже упоминал в книге как поразительное свойство русских поэтов. А проявляется этот лиризм у самого Гоголя тогда, когда он говорит о России. Писатель позволяет себе в двух завершающих главах буквальный повтор слов. В предпоследней:

<...> если только предстанет случай рвануться всем на дело <...> и ссоры, и вражды, и личные выгоды каждого – всё позабыто, и вся Россия – один человек [VIII: 408].

В последней:

Так рванётся у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, что ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды – всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек [VIII: 417].

Поэтому, думается, Гоголь, действительно, создаёт русский текст, в котором предмет размышлений и форма подачи материала совпадают, почти сливаются.


Последняя глава также питается запасами национального словесного искусства, но уже на подтекстовом уровне (религиозная легенда, духов-

ный стих). «Бедный русский человек» (как сказано в книге, а к подобному выражению мог прибегнуть лишь человек, ощущающий себя внутри этого мира и говорящий на его языке) извечно между двумя полюсами: он верит, что «только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться», и признаёт, что «это разве только карикатура и посмеяние над праздником, а самого праздника нет» [VIII: 410]. Верование в Святое Воскресенье и ощущение собственного несоответствия святому празднику предстаёт как залог сохранения национальной идентичности и ожидания, что «праздник Светлого Воскресенья воспродуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов» [VIII: 417].

Текст Гоголя представляет напряжённое размышление о кризисном состоянии всего европейского мира, когда зло входит «дорогою ума», когда «страсти ума» уже начались. Смеею предположить, что Гоголю хотелось бы дождаться времени, когда «всякие ссоры, ненависти и вражды» будут позабыты, «так рванётся < ... > всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, что ни одна душа не отстанет от другой», и вся Европа – «один человек» [VIII: 417].

Литература

- Барабаш Ю. Я.* «Инь» и «ян» украинской культуры (Гоголь и Шевченко) // Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Вып. 3. М., 2012. С. 31–54.
- Беляков С. С.* Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. М., 2016.
- Беркоф Джованна Броджи.* Барочными маршрутами повести Н. В. Гоголя «Рим» // Гоголь и Италия. Материалы Международной конференции «Николай Васильевич Гоголь: между Италией и Россией». М., 2004. С. 38–66.
- Виноградов В. В.* Язык и стиль русских писателей. М., 1990.
- Воропаев В. А., Виноградов И. А.* Духовное наследие Гоголя. Комментарий // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 395–418.
- Виролайнен М. Н.* Город-мир и сакральный сюжет у Гоголя // Гоголь и Италия. Материалы Международной конференции «Николай Васильевич Гоголь: между Италией и Россией». М., 2004. С. 11–37.
- Джулиани Рита.* Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай. Материалы и исследования. М., 2009.
- Иваницкий А. И.* Язык «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя в контексте русской публицистической традиции (Гоголь и Аввакум) // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 1988. № 2. С. 54–63.
- Кривонос В. Ш.* Символическое пространство в «Риме» // Образ Рима в русской литературе. Международный сборник научных работ. Рим; Самара, 2001. С. 131–149.
- Мандельштам И. Е.* О характере гоголевского стиля. Глава из истории русского литературного языка. СПб.; Гельсингфорс, 1902.
- Михед П. В.* Рим в творческом сознании Гоголя // Новые Гоголевские студии. Вып. 2(13). Симферополь; Киев, 2005. С. 143–158.
- Паперный В.* Повесть «Рим», город Рим и мессианизм позднего Гоголя // Гоголь и Италия. Материалы Международной конференции «Николай Васильевич Гоголь: между Италией и Россией». М., 2004. С. 113–128.



Симеон, иеромонах (Томачинский). Путеводитель к Светлому Воскресенью. Н. В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями». М., 2009.

Синявский А. Д. (Абрам Терц). В тени Гоголя. М., 2009.

Скуратовский В. «...На пороге как бы двойного бытия» (из наблюдений над мирами Гоголя) // Гоголевские студии. Вып. 2. Нежин, 1997. С. 64–102.

Толстая Е. «Рим» как физиологический очерк // Гоголь и Италия. Материалы Международной конференции «Николай Васильевич Гоголь: между Италией и Россией». М., 2004. С. 67–78.

Томачинский В. К вопросу о своеобразии стиля «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя // Гоголевские студии. Вып. 4. Нежин, 1999. С. 147–156.